

Карл Зеелиг

Прогулки с Робертом Вальзером

Фрагменты книги

Опубликовано в журнале *Иностранный литература*, номер 7, 2007

Перевод В. Седельник

Карл Зеелиг[19]

Прогулки с Робертом Вальзером[20]

Фрагменты книги

Перевод с немецкого В. Седельника

26 июля 1936 г.

Наши отношения начались с нескольких сухих писем — короткие, деловые вопросы и ответы. Я знал, что Роберт Вальзер в начале 1929 г. был помещен в бернскую лечебницу для душевнобольных Вальдау и с июня 1933 г. находился в психиатрической лечебнице Херизау (полукантон Аппенцелль-Ауссерроден). Я ощутил потребность сделать что-нибудь для публикации его произведений и для него самого. Среди всех современных писателей Швейцарии он казался мне самой своеобычной личностью. Он согласился, чтобы я посетил его. И вот ранним воскресным утром я выехал из Цюриха в Санкт-Галлен, побродил по городу и прослушал в монастырской церкви проповедь о «расточительстве таланта». Когда я прибыл в Херизау, там гудели церковные колокола. Я попросил доложить о себе главному врачу заведения, доктору Отто Хинриксену, и получил у него разрешение на прогулку с Робертом.

Из соседнего дома в сопровождении служителя вышел пятидесятивосьмилетний писатель. Меня поразило то, как он выглядел. Круглое, словно расколотое ударом молнии детское лицо с красноватыми прожилками на щеках, синими глазами и коротко подстриженными желтоватыми усиками. Виски уже тронуты сединой. Обтрепанный воротничок рубашки и косо повязанный галстук; зубы не в лучшем состоянии. Когда доктор Хинриксен хотел застегнуть ему верхнюю пуговицу жилетки, Роберт воспротивился: «Не надо, пусть остается расстегнутой!» Он говорил на мелодичном бернском варианте швейцарского диалекта, на котором говорил еще в Биле, в годы своей молодости. Быстро попрощавшись с доктором Хинриксеном, мы пошли к вокзалу, а оттуда дальше, в направлении Санкт-Галлена. День был по-летнему жаркий. По дороге нам встречались люди, идущие в церковь; они приветливо здоровались с нами. Старшая сестра Роберта Лиза предупредила меня, что ее брат чрезвычайно недоверчив. Что мне было делать? Я молчал. Он тоже молчал. Молчание было тем узким мостиком, по которому мы сближались друг с другом. С горящими от жары головами брали мы по холмистому ландшафту, луга сменялись рощами, в которых не было ничего демонического. Время от времени Роберт останавливался, прикуривал сигарету «мериленд» и, посыпывая, дымил себе под нос.

Обед в Лёхлибаде. За красным бернским вином и пивом Роберт начинает оттаивать. Рассказывает, что в Цюрихе в конце прошлого столетия работал в Швейцарском кредитном учреждении и в кантональном банке. Но только по

несколько месяцев, а потом увольнялся, чтобы заняться творчеством. Нельзя в одно время быть слугой двух господ. Тогда-то и была написана его первая книга, «Сочинения Фрица Кохера», которую в 1904 г. издательство «Инзель» выпустило в свет с одиннадцатью иллюстрациями его брата Карла. Гонорар за эту работу он так и не получил. Книжка залежалась в магазинах и очень скоро была распродана по дешевке. То, что Роберт держался в стороне от литературных групп, вообще сильно повредило ему в финансовом отношении. Но распространенное повсюду угодничество просто-напросто претит ему. Из-за такого писатель низводится до уровня чистильщика сапог. Да, он чувствует, что его время прошло. Но это его не волнует. Когда приближаешься к шестидесяти, пора задуматься об ином бытии. Он писал свои книги так, как крестьянин сеет и жнет, ухаживает за деревьями, кормит скот и чистит от навоза стойла. Из чувства долга и чтобы заработать на хлеб насущный. «Писательство было для меня такой же работой, как и любая другая».

Самым плодотворным периодом его писательской жизни были семь лет в Берлине и следующие семь в Биле. Там никто на него не давил и никто его не контролировал. Все спокойно вызревало само по себе, как растут яблоки на яблоне. Что до человеческой позиции, то время после Первой мировой войны для большинства писателей было постыдным временем. Их литература стала ядовитой и злобной. А литература должна излучать любовь, успокаивать. Ненависть не должна становиться движущей силой. Ненависть — стихия непродуктивная. Тогда, посреди этих мрачных оргий, и начался его творческий закат... Литературные премии присуждались ложным святым или каким-нибудь любителям поучений. Ну да ладно, с этим ничего не поделаешь. Но гнуться перед кем бы то ни было он не будет до самой смерти. И вообще групповщина и семейственность всегда сами собой сходят на нет.

Эти жалобы перемежаются восхищенными замечаниями об «Идиоте» Достоевского, «Из жизни одного бездельника» Эйхендорфа[21] и мужественной лирике Готфрида Келлера. Райнеру Рильке напротив, по его мнению, место лишь на ночном столике старых дев. Из книг Иеремии Готхельфа[22] ему ближе всего обе части дилогии — «Ули-батрак» и «Ули-арендатор»; но многое другое на его вкус слишком громыхающе-грубо, пропитано морализаторством.

3 января 1937 г.

Прогулка через Санкт-Галлен и Шпайхер к Трогену... Возвращались поездом... Выдержки из наших разговоров:

В Берне, где он жил с 1921 года около восьми лет, накопленные в Берлине впечатления давали пищу творчеству. Однако негативно сказывались тяга к выпивке и привычка к удобствам. «В Берне я был иногда как одержимый. Я охотился за поэтическими мотивами, как охотник за дичью. Весьма плодотворными оказывались прогулки по улицам и дальние походы по окрестностям города; собранный урожай мыслей я заносил дома на бумагу. Всякая добрая работа, даже мелкая, нуждается в поэтическом вдохновении. Для меня ясно, что дело писателя может процветать только в условиях свободы. Лучше всего мне работалось в утренние иочные часы. Послеобеденное время действовало на меня оглушающе. Моим лучшим заказчиком в ту пору была финансируемая чешским государством газета «Прагер прессе», редактор отдела культуры Отто Пик публиковал все, что бы я ему ни прсыпал, даже стихи, которые бумерангами возвращались ко мне из других газет. Раньше я часто писал и для журнала «Симплициссимус». Он, правда, нередко возвращал мои работы, находя в них слишком мало юмора. Но если что печатал, то платил хорошо. Не

меньше пятидесяти марок за историйку, то есть целое маленькое состояние для моего кошелька». <...>

Позже: «Если бы я мог вернуться в то время, когда мне было тридцать, то не предавался бы в своих писаниях романтическим мечтам, как какой-нибудь романтический ветрогон, беззаботно и чудаковато. Нельзя отворачиваться от общества. В нем нужно жить и бороться — за него или против него. В этом изъян моих романов. Они чересчур прихотливы и рефлексивны, часто небрежно скомпонованы. Не заботясь о художественной закономерности, я просто писал, как писалось. Для нового издания я бы с удовольствием сократил роман „Семья Таннер“ страниц на семьдесят-восемьдесят; сегодня я считаю, что нельзя публично высказывать столь интимные вещи о своей семье». Я: «Недавно я с восхищением прочитал вашего „Якоба фон Гунтена“. Где он был написан?» — «В Берлине. По большей части это поэтическая фантазия. Лихо нафантазировано, не правда ли? Из моих крупных работ это моя самая любимая». После паузы: «Чем меньше действия нужно писателю и чем уже локальный охват, тем значительнее оказывается нередко его талант. К писателям, которые славятся многообразием действия и нуждаются для своих персонажей в целом мире, я заранее отношусь с недоверием. Повседневные вещи достаточно прекрасны и богаты, чтобы высечь из них искры поэзии». <...>

Роберт не верит в возможность прогресса швейцарской литературы, пока она остается в сфере крестьянского мира. Светской и открытой навстречу большому миру должна она стать, без этой давящей, пресмыкающейся перед землей тяги к миру мелкого крестьянства. Он хвалит Ули Брекера, его книгу о бедняке из Токкенбурга[23] и статьи о Шекспире. В отличие от нынешних писателей, еще Готфрида Келлера вдохновляли иные, более высокие идеалы... Его «Зеленый Генрих» останется для всех поколений удивительным воспитательным романом, достойным прочтения и любви. «Одна служащая лечебницы недавно хотела всучить мне „Витико“ Штифтера[24]. Но я дал ей понять, что знать не хочу толстых романов. Мне достаточно пейзажных зарисовок Штифтера, этих незабываемо проникновенных наблюдений, в которые он столь гармонично вписывает людей. Но что вы скажете о толстушке Томаса Манна — трилогии об Иосифе? И как только он решился так размазать взятый из Библии материал?»

О революциях: «Бессмысленно поднимать восстания вне городов. Кто не овладел городом, тот не овладел сердцем народа. Все удавшиеся революции совершились в городах. Поэтому я не сомневаюсь, что Гражданская война в Испании принесет победу правительству».

27 июня 1937 г.

<...> «Знаете, в чем мое несчастье? Слушайте внимательно! Все добросердечные люди, полагавшие, что они имеют право командовать мной и критиковать меня, — фанатические приверженцы Германа Гессе. Мне они не доверяют. Они оставляют мне только один выбор: „Или пиши, как Герман Гессе, или оставайся неудачником“. Вот так экстремистски судят они обо мне. Они не доверяют моей работе. Это и есть та причина, по которой я оказался в лечебнице... Мне всегда недоставало ореола святости. Только с ним можно добиться успеха в литературе. Какой-нибудь ореол героизма, мученичества или чего-нибудь вроде этого — и лесенка к успеху готова... Обо мне судят немилосердно, видят меня таким, какой я есть. Поэтому меня никто не принимает всерьез».

Попутные замечания.

«Когда газета ухмыляется, человечество плачет».

«Природе не надо напрягаться, чтобы казаться значительной. Она значительна сама по себе».

«Сколько увенчанных Нобелевской премией давно забыты, а Иеремия Готхельф спокойно существует себе и существует! Пока есть кантон Берн, будет и Иеремия Готхельф».

«Писатель К. Ф. В. выглядит как актер из бродячей труппы».

«Счастье — не лучший материал для писателя. Оно слишком довольно собой. Оно не нуждается в комментариях. Оно может спать, свернувшись наподобие ежа. Напротив, страдания, трагедия и комедия полны взрывной силы. Надо только поджечь их в нужное время. И тогда они взлетят в небо, как ракеты, освещая окрестности».

20 декабря 1937 г.

<...> Мрачная пивная. Крепкое баварское пиво. Здесь ему нравится. Он прикуривает одну сигарету «паризье» от другой. С суховатой иронией спрашивает, принесло ли мне прибыль вышедшее в издательстве Ренча избранное Вальзера — «Большой маленький мир». Хвалит Виланда и Лессинга, зато Матиас Клаудиус[25] кажется ему слишком наивным. Говорит: «Классикам я никогда не завидовал. Зато завидовал писателям второстепенным, прежде всего Вильгельму Раабе[26] и Теодору Шторму[27]. Подобное я тоже мог бы делать, такие буржуазно-приятные истории. Эта проклятая приятность прямо-таки раздражает меня в Раабе». Я: «Значит, вы завидуете и Готфриду Келлеру?» Роберт, смеясь: «Нет, он же всего лишь цюрихец!»

Я рассказываю Роберту, что Комиссия по поощрению бернской словесности присудила ему почетную премию. Известие его радует.

14 апреля 1938 г.

Шестидесятилетие Роберта Вальзера. Насколько я его знаю, поздравления делают его только строптивее. <...> В Херизау возвращаемся поездом... На вокзале я решаюсь наконец поздравить его с днем рождения. Он несколько раз пожимает мне руку, а потом бежит за моим поездом и машет до тех пор, пока поезд не скрывается за поворотом.

Из наших разговоров.

В Берлине Роберт месяц обучался в школе для домашних слуг. Он рассказывает о «пажеской свободе» многих слуг. Камердинер одного графа нанял его в расположенный на холме замок в Верхней Силезии. Внизу — деревня. Роберту приходилось убирать залы, полировать серебряные ложки, выбивать ковры и в качестве «мосце Робера» во фраке прислуживать за столом. Он пробыл там полгода. Школу слуг он описал позже в романе-дневнике «Якоб фон Гунтен», перенеся действие в «институт для мальчиков». «Но в роли слуги я со своей швейцарской неповоротливостью пригодился ненадолго...»

После этого эпизода со службой его брат Карл, художник, представил Роберта издателям Самуэлю Фишеру и Бруно Кассиреру; Карл тогда прославился театральными декорациями, которые он делал для Макса Рейнхардта, к «Сказкам Гофмана», например, или к «Кармен»... Бруно Кассирер посоветовал Роберту написать роман. Тогда и появилась «Семья Таннер», которая Кассиреру не очень понравилась. Один из критиков сказал, что этот вальзеровский роман состоит сплошь из примечаний...

В Цюрихе Роберт несколько недель работал в конторе машиностроительного завода Эшер-Вюса, потом одно время — снова слугой у богатой еврейки. Но лучшим временем для него были годы в Биле. «С самими бильцами я общался мало. Я больше болтал с иностранцами, которые

останавливались в гостинице „У синего креста“, где я снимал каморку на чердаке. Комната № 27 стоила двадцать франков, полный пансион — девяносто. Вокруг меня были горничные, славные девушки, говорившие с легким французским акцентом, который мне очень нравился». — «Почему же тогда вы покинули Биль?» — «В ту пору я сильно обеднел. Кроме того начали постепенно иссякать темы и мотивы, которые я черпал в Биле и его окрестностях. В этой ситуации моя младшая сестра Фанни написала мне, что нашла для меня место в Берне. В кантональном архиве. Тут уж я не мог отказаться. К сожалению, через полгода я рассорился с начальником, которого вывел из себя дерзким замечанием. Он уволил меня, и я снова вернулся к писательскому ремеслу. Под впечатлением от большого, полного жизненной силы города я начал писать уже не так по-деревенски и по-детски наивно, как в Биле, где я прибегал к чувствительному стилю, а более мужественно, ориентируясь на интернационального читателя. В результате ко мне стали приходить предложения и заказы из зарубежных газет: видимо, их привлекало то, что я жил в швейцарской столице. Надо было искать новые мотивы и идеи. Но постоянные раздумья на этот счет повредили моему здоровью. В последние бернские годы меня мучили кошмарные сны: раскаты грома, крики, чувство, что меня душат, звуковые галлюцинации; часто я просыпался, громко крича. Однажды я в два часа ночи отправился из Берна в Тун и в шесть утра был уже на месте. В полдень я был на Низене, где подкрепился куском хлеба и банкой сардин. К вечеру я опять был в Туне, а в полночь вернулся в Берн; разумеется, весь путь проделал пешком. В другой раз я сходил в Женеву и вернулся обратно, переночевав в Женеве. Одна из первых моих путевых заметок посвящена озеру Грайфензее, ее Йозеф Виктор Видман опубликовал в газете „Бунд“. Уже тогда я понял, как чертовски трудно писать путевые заметки».

«Поэтическое произведение должно походить на красивый костюм, который льстит покупателю».

«Петер Альтенберг[28]: милый венский балагур. Но писателем я бы его не назвал».

«Нацисты не поглотили бы австрийцев, поставь те во главе государства бойкую, привлекательную бабенку в юбке. Любой полез бы под эту юбку, в том числе Гитлер и Муссолини. Вспомните королеву Викторию и голландских правительниц! Женщины охотно берутся за дипломатическую службу. Как ловко умеет льстить женская половина австрийской нации!»

«От чтения современников я лучше воздержусь, пока нахожусь в положении больного. Тут уместнее сохранять дистанцию».

«Какой толк писателю от таланта, если он лишен любви». <...>

23 апреля 1939 г.

<...> «Вернувшись с сотней франков в кармане из Берлина в Биль, я старался вести себя как можно незаметнее. Для триумфа и впрямь не было оснований. Днем и ночью я ходил на прогулки, а в промежутках занимался писательством. Наконец, когда я исчерпал — истоптал, как корова лужайку, — все мотивы, я перебрался в Берн. Поначалу и там все шло хорошо. Но представьте себе мой испуг, когда в один прекрасный день я получил из редакции отдела культуры газеты «Берлинер тагеблатт» письмо, в котором мне советовали полгода ничего не писать! Я был в отчаянии. Да, это правда, я вконец исписался. Выгорел, как дрова в печке. Правда, несмотря на это предостережение, я силился писать дальше. Но вымучивал я из себя лишь какую-то бесполезную бестолковщину. Мне всегда удавалось только то, что спокойно вызревало во мне и что я так или иначе сам пережил. В ту пору я предпринял несколько беспомощных попыток лишить себя жизни. Но я не умел даже петлю завязать как следует. В конце концов дошло

до того, что моя сестра Лиза отправила меня в лечебницу в Вальдау. Прежде чем войти в ворота, я спросил ее: «Мы правильно поступаем?» В ответ — красноречивое молчание. Мне не оставалось ничего другого, как войти».

«Нелепо и жестоко требовать, чтобы я писал и в лечебнице. Единственная почва, на которой может творить писатель, — это свобода. Пока это условие не будет выполнено, я отказываюсь снова взяться за писание. Того, что в мое распоряжение предоставляют комнату, бумагу и перо, для меня недостаточно». Я: «У меня сложилось впечатление, что вы не очень-то желаете этой свободы!» Роберт: «Никто здесь ее мне не предлагает. Значит, надо ждать». Я: «Вы и в самом деле хотели бы покинуть лечебницу?» Роберт (помедлив): «Можно бы попробовать!» Я: «Где бы вы тогда хотели жить?» Роберт: «В Биле, Берне или Цюрихе — все равно где! Жизнь везде может быть приятной». Я: «И вы действительно начали бы снова писать?» Роберт: «На этот вопрос есть лишь один ответ: оставить его без ответа». <...>

10 сентября 1940 г.

В волосах Роберта все больше седины; на затылке уже прорастают белоснежные кустики... Поражает его память о давних событиях. Он помнит дюжины имен и подробностей из жизни Фридриха Великого, Наполеона, Гёте, Готфрида Келлера и других. Он не считает случайным то, что Келлер решил отметить свое семидесятилетие в самых старых кантонах Швейцарии. В этот день он инстинктивно стремился быть ближе к сердцу своего народа... К попыткам некоторых современных авторов писать на диалекте Роберт не испытывает особого интереса. «Я нарочно никогда не писал на диалекте. Я видел в этом не совсем приличный способ угодить массе. Художник должен сохранять дистанцию по отношению к ней. Она должна уважать его. Только глупец (*Tschalpi*) употребляет свой талант на то, чтобы приблизиться к народу больше, чем другие... Писатели просто обязаны благородно мыслить и действовать и стремиться к возвышенному». Когда разговор переходит на Вальтера Хазенклевера[29], покончившего во Франции самоубийством, Роберт замечает: «Нельзя безнаказанно нападать на власть отцов. Драму Хазенклевера «Сын» я еще в Берлине воспринял как оскорбление всех отцов. Желание отменить вечные законы — признак духовной незрелости. Рискуешь нарваться на месть с их стороны...»

За чашкой черного кофе мы заводим разговор о психиатрической лечебнице. Я: «Вам не приходило в голову, что неженатые мужчины и незамужние женщины более других подвержены душевным болезням? Может быть, вытесненная чувственность неблагоприятно действует на мозг? Вспомните Гёльдерлина, Ницше или Генриха Лейтхольда[30]!» Роберт, поколебавшись: «Я никогда об этом не думал. Но, может быть, вы правы! Без любви человек потерян».

20 июля 1941 г.

<...> К вопросу о продуктивности: «Ничего хорошего, если художник растрачивает себя уже в юности. Тогда раньше времени разрушается его внутренний мир. Как умели экономить творческие силы для пожилого возраста Готфрид Келлер, Конрад Фердинанд Майер[31] и Теодор Фонтане! Конечно же, не во вред себе». Я: «А как было с вами?» — «Последние месяцы в Берне мне словно гвоздь в башку вбили. Я просто не находил больше сюжетов. Кстати, Готфрид Келлер, должно быть, переживал нечто подобное, когда принял место кантонального секретаря. Когда крутишься в одном и том же пространстве, это приводит к бессилию». Я: «Но в отношении многих художников ваше замечание

неверно. Иеремия Готхельф, например, все время обретался в одной и той же атмосфере». Роберт знает мое восхищение Готхельфом и хочет меня немножко позлить: «Я довольно внимательно изучал Готхельфа и могу утверждать, что вы неправы. С ним произошла та же история. Но он был упрям как бык. Он просто рта не мог закрыть, это пламенный проповедник. Все наставлял и наставлял свою паству, пока она его уже просто терпеть не могла. Осознав это, он в конце концов потерял вкус к жизни. Этим я не хочу сказать, что он был неправ. Он был значительный писатель и прекрасный проповедник, желавший добра своему народу. Но с народом нельзя воевать безнаказанно. Вероятно, бернцы сочли предательством то, что он так часто унижал их перед иностранцами. Ведь читали его в основном немцы».

О Ницше: «Он поплатился за то, что не любил женщин. Сам очерствел. Сколько философских систем возникло из мести за упущеные наслаждения!»

О себе: «Мои соотечественники всегда сплачивались, чтобы защититься от вредных насекомых вроде меня. Все, что не соответствовало их представлениям, с благородным высокомерием отвергалось. Я никогда не осмеливался проникнуть в их среду. У меня недоставало решимости даже заглянуть в их мир. Я жил своей собственной жизнью, на периферии буржуазного существования, и разве это было плохо? Разве мой мир не имеет права на существование, хотя он кажется куда более бедным и бессильным?»

28 января 1943 г.

<...> «Знаете, почему я как писатель не добился успеха? Во мне был слишком ослаблен общественный инстинкт. Я почти не заигрывал с обществом. Да, все так и было! Я все делал почти исключительно для собственного удовольствия. Правда-правда, во мне были задатки бродяги, и я им почти не противился. Такая субъективность не понравилась читателям «Семьи Таннер». По их мнению, писатель не должен растворяться в субъективности. Они воспринимают это как высокомерное желание возвеличить собственное Я. Писатель сильно ошибается, полагая, что современники так уж интересуются его личными делами!»

«Уже мой литературный дебют мог внушить мысль, что я потешаюсь над добрыми бюргерами и не считаю их полноценными людьми. Этого они мне так и не простили. Для них я навсегда остался круглым нулем, кандидатом на виселицу. Мне надо было подмешивать в свои книги немного любви и печали, немножко серьезности и одобрения — и немножко благородной романтики, как это сделал Герман Гессе в «Петере Каменцинде» и «Кнульпе». Даже мой брат Карл время от времени мягко намекал мне на это».

«В Берлине швабский драматург Карл Фолльмёллер, родившийся в один год со мной и в ту пору пользовавшийся протекцией Макса Рейнхардта[32], сказал мне однажды с нескрываемым бесстыдством: «Роберт Вальзер, вы начинали как коммивояжер и коммивояжером останетесь!» Он изрядно интриговал против меня и в издательстве «Инзель», когда там вышли мои «Сочинения Фрица Кохера»... А что в результате? Сегодня он полностью забыт, и я вместе с ним!» <...>

15 апреля 1943 г.

Роберту исполнилось 65 лет. Продолжительная беседа с доктором Х. О. Пфистером, главным врачом психлечебницы, о физическом состоянии Роберта. В марте его пришлось из-за застоя в кишечнике положить в окружную больницу в Херизау; врачи предполагали наличие раковой опухоли в нижнем отделе кишечника, которую можно было бы удалить небезопасным операционным путем. Свое заболевание Роберт воспринял так спокойно, словно речь шла не о нем, а о

ком-то другом. Но все уговоры врачей и обеих его сестер согласиться на операцию наталкивались на упрямое «нет». Поскольку застой в кишечнике после нескольких дней лечения в больнице прошел, Роберта вернули в лечебницу, где его состояние заметно улучшилось. Утром он снова помогал сиделкам убирать помещение, чтобы после обеда заняться обычной работой — перебирать чечевицу, бобы и каштаны или kleить бумажные пакеты. При этом он старается успеть сделать как можно более высокую стопку пакетов и ворчит, когда ему мешают. В свободное время он любит читать пожелавшие иллюстрированные журналы или старые книги. Склонности к художественному творчеству он ни разу не проявил, говорит доктор Пфистер. К врачам, обслуживающему персоналу и к другим пациентам он испытывает глубоко укоренившееся недоверие, которое пытается скрыть за церемонной вежливостью. Кто предпринимает попытку сблизиться с ним, рискует нарваться на грусть. Я привез Роберту несколько подарков, которые он равнодушно отложил в сторону. Не успели мы выйти за пределы территории лечебницы, как он спросил, что я так долго делал у доктора Пфистера. Я ответил, что мы беседовали о наших общих знакомых — цюрихских врачах. Это объяснение, кажется, его успокоило... На мой осторожно заданный вопрос об операции он ничего не ответил. Я тотчас же сменил тему, чтобы не расстраивать его еще больше. Когда мы прощаемся, он, как бы намекая на свое заболевание, говорит: «В жизни человека должны быть неприятности, чтобы прекрасное лучше выделялось на фоне уродливого. Заботы — лучшие воспитатели».

16 мая 1943 г.

<...> Вблизи Вальдштатта Роберт замечает: «Писатели, нарушающие законы этики, заслуживают порки. Они согрешили против своей профессии. И вот в наказание на них натравили Гитлера. Современную художественную литературу нельзя не упрекнуть в том, что она ведет себя грубо, высокомерно и самодовольно. Я абсолютно убежден, что по-настоящему хорошие книги можно давать любому читателю. И конфирмующемуся, и старой деве. Но о многих ли продуктах теперешней беллетристики можно это сказать?»

«Вежливые люди чаще всего себе на уме».

«Только изъяны придают людям яркие черты характера... Дурные черты нужны для контраста, чтобы придать миру жизненность».

«Ни один писатель не обязан быть совершенным. Нужно любить его со всеми его человеческими слабостями и причудами!» Это сказано в разговоре о «Титане» Жана Поля, чей напоминающий вьющиеся растения стиль восхищает Роберта.

27 июля 1943 г.

<...> Некоторые темы разговоров в это воскресенье.

«Первые стихотворения я сочинил такими, какими они и появились в свет, будучи коммивояжером в Цюрихберге; я тогда жил замкнуто, как монах, часто мерз и голодал. Писал я стихи и позже, особенно в Биле и Берне. Даже в лечебнице Вальдау, где я изготовил почти сотню стихотворений. Но немецкие газеты их не печатали. Печатался я в газетах «Прагер прессе» и «Прагер тагеблатт», у Отто Пика и вашего друга Макса Брома. Иногда и Курт Вольф включал несколько стихотворений в свои ежегодники». Я говорю ему, что своей популярностью в Праге он мог быть обязан и Францу Кафке, почитателю его берлинских зарисовок и «Якоба фон Гунтена». Но Роберт качает головой; он едва ли знает Кафку...

2 января 1944 г.

<...> Я спрашиваю Роберта, правда ли, что в Берлине он скрежет три ненапечатанных романа. «Вполне возможно. Я был тогда одержим писанием романов. Но потом понял, что упорно терзаю форму, слишком для моего таланта обширную. И я замкнулся в улиткиной раковине короткой истории и зарисовки... Кстати, автор должен самостоятельно решать, какой литературной форме отдать предпочтение. Быть может, он пишет такие романы только для того, чтобы наконец вздохнуть свободнее. И совершенно не важно, нравится это его окружению или нет. Где находишься, там и потерять не возбраняется... Если бы я мог начать все сначала, то постарался бы последовательно вытравливать все субъективное и писать так, чтобы народу нравилось. Я слишком увлекся независимостью. Нельзя отдалиться от народа. Примером для меня служила бы поразительная красота „Зеленого Генриха“»[33].

«В Херизау, — добавляет Роберт, — я больше ничего не написал. Да и для чего? Мой мир был вдребезги разбит нацистами. Газеты, для которых я писал, закрылись; их редакторы изгнаны или умерли. Я почти превратился в окаменелость».

Три изречения: «Только при нищете в человеке просыпается разум». «Устами гениального художника пророчески возвещает о себе мировая история». «В зависимости есть нечто умиротворяющее, самостоятельность порождает вражду».

25 мая 1944 г.

<...> Обстоятельный обед с «шатонёф дю пап» в привокзальном буфете. Роберт рассказывает, что в лечебнице Вальдау он вызывал аплодисменты женщин своим умением пилить дрова. После смерти профессора Вильгельма фон Шпайра, с которым он находил общий язык, у него вскоре начались трения с новым директором, профессором Якобом Клези, и летом 1933 года Роберта в сопровождении охранника перевезли в Херизау. Он подробно рассказывает об автобиографии Цшокке[34] «Обзор моей жизни», в которой Цшокке иронизирует над тем, как Генрих фон Клейст читал в Берне свою драму «Семейство Шроффенштайн». Переходя к русским: «Через всю русскую литературу проходит мысль о том, что так называемые сильные и торжествующие на самом деле — люди слабые, парадоксальным образом захватившие власть в свои руки. Об этом „Анна Каренина“ Толстого и „Вечный муж“ Достоевского». О воздушных бомбардировках Берлина он замечает: «Быть может, у этих ужасов есть и хорошая сторона — они возвращают городское население к более непосредственной, естественной жизни. Сколько затхлого прошлого накопилось в городах за эти столетия! Немцам, кстати, не повредит, если они опять окажутся под иностранным игом. И развитые народы должны учиться отражать удары, чтобы потом господствовать».

24 июля 1944 г.

<...> Роберт иронизирует над некоторыми новыми издательствами, которые видят себя в роли первопроходцев литературы, «в коротких штанишках и лихо повязанных галстуках... Для метеором промчавшегося по жизни Шиллера у них не находится ничего, кроме ухмылки...» Он с теплотой отзыается о «странным мастерстве» Чарльза Диккенса или Готфрида Келлера, читая которых, не знаешь, плакать тебе или смеяться. Это, по его мнению, явный признак гениальности. «В ваших книгах тоже часто этого не знаешь», — вставляю я реплику. Он резко останавливается на деревенской улице и произносит очень серьезно, как бы заклиная: «Я настоятельно прошу вас никогда больше не упоминать мое имя в

связи с этими мастерами. Даже шепотом. Мне хочется в страхе забиться куда-нибудь, когда меня упоминают в одном ряду с ними». Намекая на новеллиста и автора путевых заметок Поля Морана[35], ставшего французским послом в Берне, Роберт говорит: «Мне кажется, швейцарским писателям нельзя было бы доверить такой пост. Для этого нам недостает чувства меры и традиции. Мы впадаем в экзальтацию из-за ощущения своей неполноценности. Мы то грубы и крикливы, то излишне скромны. То и другое для дипломатии не годится». Он, между прочим, придерживается мнения, что общественная жизнь — яд для художника. Она опошляет пишущего и подталкивает его к компромиссам.

Ницше представляется ему дьявольской, жаждущей побед и безмерно тщеславной натурой. «Он в полной мере обладал даром искушения, свойственным гению. Но он уже в юности втерся в доверие к дьяволу, то есть к низверженному, потому что сам чувствовал себя отверженным. Он не был человеком солнца. Он поднялся наверх из оскорбительного для него состояния батрачества и был строптив. Его мораль повелителя настолько оскорбительна для женщин, что и представить трудно: коварная месть нелюбимого».

28 декабря 1944 г.

<...> В Херизау возвращаемся пешком... По дороге Роберт рассказывает, как издательство Кассирера отправило его брата Карла вместе с Келлерманом в Японию, чтобы Карл иллюстрировал келлермановские путевые заметки. В Москве Карл посреди оживленной площади в ответ на какую-то дерзость влепил Келлерману смачную пощечину. Некоторое время спустя издатель Самуэль Фишер пригласил Роберта к себе и спросил: «Не хотите ли поехать в Польшу и написать об этом книгу?» Роберт: «А зачем? Мне и в Берлине хорошо». — «Тогда, может быть, хотите в Турцию?» — «Нет, мерси! И в других местах могут случаться вещи, подобные тем, что происходят в Турции. А, может, еще и похлеще[36]. Я вообще никуда не хочу. Зачем писателю куда-то ехать, если у него есть фантазия?» Я мимоходом добавляю: «Эту точку зрения я уже встречал в одной из ваших книг. Там говорится: «Разве природа отправляется за рубеж? Я смотрю на деревья и говорю себе: они ведь тоже никуда не уезжают, так почему бы и мне не остаться?» Роберт: «Да, важны только путешествия к самому себе».

9 апреля 1945 г.

<...> Через несколько минут после отхода поезда я признался: «Не сердитесь на меня, господин Вальзер! Это я попросил главного врача спросить вас, не хотите ли вы перебраться в лучшее отделение лечебницы». Роберт в ответ: «Почему я должен хотеть в лучшее отделение? Вы ведь тоже остались ефрейтором, без этих офицерских замашек. Я, видите ли, тоже нечто вроде ефрейтора и хочу им остаться. У меня так же мало желания быть офицером, как и у вас. Я хочу жить с народом и в нем исчезнуть. Это для меня самое подходящее».

12 августа 1945 г.

<...> Мы огибаем еловую рощицу и оказываемся на краю грязного обрыва. Внизу журчит ручей. Роберт: «Черт возьми, мы же тут себе шею сломаем!.. Прочь отсюда, к свету!» Мы добираемся до картофельного и пшеничного полей, нам приходится перелезать через многочисленные ограждения из колючей проволоки. Устраиваем передышку. Роберт: «После всех этих испытаний стоит вспомнить «Обрыв» Гончарова и «Бесов» Достоевского. Прошу вас исполниться благовения и выслушать одно место оттуда: «Я ничего от Ури не надеюсь; я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места...»[37].

По дороге в Абтивиль мы говорим о Карле Шпittелере[38]. Роберт: «Мне он все больше представляется врачом-психиатром, восседающим подобно божку над сумасшедшими. Так он и выглядит, этот Шпittелер. В нем есть что-то импонирующее, но и что-то отталкивающее. Без толики надменности и высокомерия такое место не займешь... Я, кстати, никогда не думаю о Шпittелере, когда размышляю о литературе. Среди швейцарцев мне почти всегда приходят в голову Келлер со своим «Зеленым Генрихом» и Майер с «Юргом Еначем»[39]. Вот два демократа и рассказчика, каких здесь не было раньше и не будет потом» Я: «А Готхельф?» — «Мадам Жорж Занд восхищалась им; мне милее другие боги».

В Херизау Роберт складывает зонтик и указывает на привокзальный буфет: «En avant[40] — к пиву и сумеркам!» Во время разговора о поверженной, стонущей от ран Германии он замечает: «Должны же наконец немцы научиться не плестись в политике за гениями! Проклятая склонность к романтике привела их к полному краху. Они всегда стремились показать миру, какие у них есть умные, сверх меры прилежные парни. Как будто в политике все зависит от гениев! Взгляните-ка на этого спокойного курильщика сигар, на Черчилля! Его можно представить себе и за столом пивной, и в домашнем кресле. Ему чуждо все аффектированное и неврастеническое. И все же он тоже гений, он, не поднимая шума, спас многое и многих. Энергично делать необходимое и разумное — вот в чем гениальность, и только так Германия, а вместе с ней и Европа могут избежать падения в пропасть».

30 декабря 1945 г.

<...> Я спрашиваю его, почему он из Берлина не отправился в Париж. «В Париж? Jamais![41] Там, где столь неподражаемо работали Бальзак, Флобер, Мопассан и Стендаль, я бы никогда не осмелился работать. Никогда! После берлинского краха для меня был единственно верный выход — возвращение на свою маленькую родину». Потом, немного помолчав: «Я не настолько глуп, чтобы не оценивать свой талант критически. Ах, никто лучше Келлера не умел устраивать все наилучшим образом! У него нет ни одной лишней строки. Все обдуманно и к месту, как и быть должно».

26 мая 1947 г.

<...> Я рассказываю Роберту, как в понедельник, на Троицу, я сидел на премьере пьесы Стриндберга «Игра грез» прямо за Томасом Манном. Мне бросились в глаза его длинный, острый нос и густые, не выцветшие волосы. Роберт: «Это гигиена успеха. Скольких неуспех довел до гроба! Но у Томаса Манна уже с юности было все: бургерский покой, уверенность, семейное счастье, признание. Даже эмиграция не могла его сломить. На чужой земле он продолжал писать как прокуррист в конторе, например, свои романы об Иосифе, на мой вкус, суховатые и вымученные, далеко не столь прекрасные, как поразительные ранние произведения. В его поздних вещах замечаешь кабинетный дух, и их создатель выглядит так же — как человек, который всегда прилежно корпел за письменным столом и конторскими книгами. Но в его бургерской основательности и почти естественно-научном стремлении каждую деталь поставить на свое место есть нечто, внушающее уважение».

Разговор о недавно умершем Шарле Фердинанде Рамю[42]. Роберт согласен, что он — самый яркий писатель Западной Швейцарии. Но его регионализм он находит устаревшим и иногда утрированным. Говорит, что сегодня у искусства должны быть открыты глаза на все человечество, а не только

на свою малую крестьянскую родину, которая нашла уже своего неподражаемого художника в Готхельфе.

3 ноября 1947 г.

<...> Ближе к вечеру он хочет возвращаться в Херизау пешком. Но погода такая, что, промокнув до нитки, он может произвести в лечебнице неприятное впечатление. Мы идем к вокзалу. Уже в купе я узнаю причину его дурного настроения: отныне я смогу навещать его только по воскресеньям. В будние дни он должен работать, как и другие пациенты. Я: «Но главный врач недвусмысленно сказал мне, что мы можем ходить на прогулки, когда и сколько захотим!» Роберт, серьезным, не терпящим возражений тоном: «Главный врач! *Je m'en fiche*[43]. Я не могу ориентироваться только на докторов. Я должен и с пациентами считаться. Неужели вы не понимаете, что с моей стороны было бы неделикатным быть в их глазах в привилегированном положении!»

4 апреля 1948 г.

Мы идем в Дегерсхайм. Луга в еще почти не растаявшем снеге сверкают, словно россыпь драгоценных камней. Разговор заходит о Максе Броде, который тогда находился в Цюрихе. Роберт вспоминает, что в 1919 г. в одной лейпцигской газете его портрет был напечатан рядом с портретом Макса Брода. Я рассказываю ему, как руководитель бюро, под началом которого Кафка работал в Обществе по страхованию рабочих от несчастных случаев, сравнивал его с вальзеровскими мечтателями, на что Кафка рекомендовал своему интересующемуся литературой шефу приобрести «Семью Таннер». Кафка часто с восторгом говорил о «Якобе фон Гунтене», а Макс Брод читал ему написанные в Берлине короткие рассказы Вальзера... Но Роберт сухо замечает, что в Праге есть более интересные вещи для чтения, чем вальзеровские. В этом городе еще в XIV веке существовал знаменитый университет, Прага долгое время оставалась цитаделью немецкой культуры. И только из-за чудовищной тупости национал-социалистической политики эта культура была утрачена.

23 января 1949 г.

Небо как на картинах Сегантини[44]. Лыжники толпами осаждают поезд на Аппенцелль. В лучах утреннего солнца ярко блестит снег. Роберт в новой серой шляпе уже на вокзале. Он заводит разговор об Эрнсте Цане[45], которому завтра исполняется 82 года, и восхищенно отзыается о его профессиональной сноровистости, хотя книги Цана, на его взгляд, написаны слишком уж в областническом духе. Но сколько отцовского достоинства было заложено в этом человеке уже в молодости, раз недоверчивые жители кантона Ури избирали его президентом общины, судьей по уголовным делам и председателем земельного совета! Затем Роберт переходит к столетию Августа Стриндберга, которое отмечалось вчера. Примерно лет двадцать тому назад он видел в бернском театре Гертруду Эйзольдт в его «Фрё肯 Юлии». Ну и мерзкая была пьеса! Лакей там соблазняет служанку в замке. «Я бы прикончил этого скота!» — говорит Роберт на бернском диалекте. Таким же губителем женщин, как этот лакей, был и сам Стриндберг. Тщеславная, дьявольская натура. Он, Роберт, всегда его ненавидел. На следующий день он смотрел «Дух земли» Ведекинда. Это совсем другой художник — более человечный и благородный. Женщины со сладострастием мстили Стриндбергу. Как он хотел их уничтожить, так и они в конце концов уничтожили его самого. Нельзя безнаказанно жить и творить без любви...

15 апреля 1949 г.

В по-летнему жаркую страстную пятницу — поход в Дегерсхайм, где мы отметим 71-й день рождения Роберта. Глядя на усеянный одуванчиками и горечавкой луг, Роберт замечает: «В сравнении с природой все мы — халтурщики!»

После ухода Бисмарка немецкая политика стала преступной. Кайзер Вильгельм II использовал любую возможность, чтобы уколоть французов. С той поры немцы утратили свое величие.

Современное поколение писателей, считает Роберт, сплошь состоит из маменькиных сыnekов. Оно не переносит неуспеха. «Обиженный тут же мчится к маме Публике, жалобно причитая, что с ним дурно обошлись... Взгляните на лица современных писателей! Среди них есть рожи подлецов и убийц. Видимо, добрых людей в искусстве вообще не стоит искать. Если художник хочет создать что-нибудь интересное, он должен призвать на помощь демона. Ангелы — не художники».

День покаяния 1949 г.

Разговор о самоубийстве Цезаря фон Аркса[46] побуждает Роберта подробнее остановиться на отношениях писателей с обществом. По его мнению, писатели должны быть мучимы обществом: «Если художники не находятся в натянутых отношениях с обществом, они быстро угасают. Они не должны позволять обществу баловать себя, иначе у них возникнет обязанность приспособливаться к существующим условиям... Никогда, даже в периоды жесточайшей нужды, я не позволял обществу подкупить меня. Личная свобода всегда была мне дороже».

<...> Мы быстро находим тему для разговора, которая на пустынной, петлями поднимающей вверх полевой дороге живо занимает Роберта. Я предлагаю поговорить о Корее. Роберт: «О рассказе „Дон Корреа?“» — «Нет, я имею в виду войну в Корее». — «Но разве „Дон Корреа“ не интереснее в тысячу раз? Вы же знаете эту грациозную новеллу Готфрида Келлера о португальском герое-моряке, в которой так естественно соединены нравственное начало и свободолюбие?» Затем он все-таки в течение получаса неистово обличает американскую интервенцию в Корее: «Вы обратили внимание на рожи этих висельников и гангстеров? Чванливые, высокомерные, разбойниччьи. Какое дело американцам до борьбы за свободу, которую ведет народ древней культуры? Разумеется, они со своей суперсовременной военной машиной все разрушат и добьются победы. Но как потом снова загнать в клетку эту bestiu, „капитализм“? Это другой вопрос, решение которого потребует много времени. Во всяком случае, настоящая культура обретается не в Вашингтоне».

Рождество 1952 г.

<...> Тема модернизации тоже вызывает у Роберта множество ассоциаций. Я рассказываю ему о том, что недавно в цюрихском Шаушпильхаусе был показан жалкий вариант урезанной шекспировской «Бури», сделанный немецким кинорежиссером Эрихом Энгелем. На это Роберт: «Шекспир и Шлегель не нуждаются в наших переделках, у кого нет времени смотреть Шекспира без сокращений, пусть сидит дома и читает Викки Баум[47]. Я раньше видел сокращенные издания произведений Жана Поля и Иеремии Готхельфа. Это было невыносимо. Ведь именно длинноты и извины, чрезмерная обстоятельность и возвышенность в них — прекрасны. Меня до сих пор радует, как однажды в

Берлине некий Якоб Вальзер с треском провалился со своим изуродованным вариантом «Пентесилеи» Клейста...»

12 апреля 1953 г.

Три дня до семидесятилетия Роберта. По телефону врач сообщил мне, что в «Аппенцелльской газете» о Роберте появилась подробная статья, в которой я фигурирую в качестве его опекуна и единственного друга. Поэтому я готовлюсь к сегодняшней встрече со смешанным чувством. Не проявит ли он после всего этого особой недоверчивости?

Но нет, он встречает меня под голубым, цвета незабудки, небом сияюще-веселый, каким он редко бывает, и сразу же соглашается побродить по окрестностям Херизау. Вверх-вниз по холмам... После обеда долгий разговор о загадочной смерти Сталина. «Мне всегда был отвратителен фимиам, который он позволял распространять вокруг себя, — говорит Роберт. — Окруженный подобострастием, он в конце концов превратился в идола, который уже не способен жить как нормальный человек. Может, в нем и было что-то гениальное. Но для народов лучше, когда ими управляют посредственные натуры. В гениях почти всегда таятся злые силы, за которые народам приходится расплачиваться болью, кровью и позором».

*

В день своего семидесятилетия Роберт, по словам доктора Штайнера, был скорее в раздраженном настроении. На попытки заговорить с ним о тех почестях, которые в этот день воздавались его персоне в газетах и по радио, он отвечал: «Это меня не касается!» Как и в любой другой будний день, он добросовестно выполнял свои обязанности — подметал пол, а после обеда фальцевал бумагу для пакетов...

Рождество 1955 г.

<...> О распространенной нынче моде раздавать направо и налево премии начинающим писателям Роберт отзывается пренебрежительно: «Если начинать их так рано баловать, они останутся вечными мальчишками-учениками. Чтобы стать мужчиной, нужны страдания, непризнание, борьба. Государству не к лицу становиться повивальной бабкой писателей».

Его страшно развеселило поведение исландского писателя Халлдора Лакснесса[48], который в этом году был отмечен Нобелевской премией. Ничего из его книг Роберт не читал, но видел в газете снимок, показавшийся ему очень характерным. Еще и сегодня у него вызывает смех та лихость, с какой Лакснесс во время празднества в Стокгольме отплясывал со шведской принцессой. На лесной тропинке Роберт изобразил, как Лакснесс во фраке бесшабашно вертелся на крестьянский лад, словно хотел торжественно объявили: «Теперь я держу в руках не только Восток, но и Запад!» Так как незадолго до того Лакснесс получил и советскую премию. Перед таким ухарством группка немецких и швейцарских нобелевских лауреатов выглядит жалкими домоседами.

Здесь кончаются мои заметки о наших совместных прогулках. Несколько листков из прежних времен затерялись, а о последних прогулках я ничего не писал. Может, я инстинктивно чувствовал близящийся конец? Хотел развеять следы в молчании? Не знаю. Размышлять задним числом о своих действиях или бездействии не имеет смысла. Так же как не имело бы никакого смысла набрасывать ретушированный, не соответствующий действительности образ Роберта Вальзера. Для меня высшим законом было желание достоверно

передать его своенравный характер и его взгляды; только следование такому закону может оправдать публикацию этих интимных записок и будущей документальной биографии.

Если в «Прогулках с Робертом Вальзером» часто говорится о еде и выпивке, если некоторые темы время от времени повторяются в противоречащих друг другу вариантах, а отдельные эпизоды могут шокировать читателя, то скажу себе в оправдание, что рисковал я во имя истины, которая, думаю, по плечу такой оригинальной личности, как Роберт Вальзер, даже если она и бросает какую-то тень на его образ. Утешением для меня служит то, что наши прогулки вносили некоторое разнообразие в его длившуюся десятилетиями монотонную жизнь в психиатрической лечебнице; более увлеченного спутника по странствиям мне больше никогда не найти.

В сумерках 25 декабря 1956 года я разглядывал из своей неосвещенной квартиры соседние дома, в которых уже зажглись на рождественских елках первые свечи. Рядом со мной лежал заболевший далматинец по кличке Аякс, которого в этот вечер я не хотел оставлять одного. По причине жалкого состояния собаки я перенес очередную прогулку с Робертом с Рождества на Новый год... Вдруг зазвонил телефон. Он принес сообщение главного врача, что вскоре после обеда Роберта нашли мертвым на заснеженном поле — том самом, где мы провели незабываемые часы на Рождество 1954 года и в Страстную пятницу 1955-го.

Этой ночью я не мог видеть рождественских елок. Их свет до боли резал мне глаза.

[19] Карл Зеелиг (1894-1962) – швейцарский писатель, журналист, переводчик, автор записок «Прогулки с Робертом Вальзером» (1957) и неоконченной биографии Вальзера. Встречи Зеелига с Вальзером были редкими – обычно два или три раза в год.

[20] Ы Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2001

ї В. Седельник. Перевод, 2007

[21] «Из жизни одного бездельника» (1826) – роман немецкого романика Йозефа Бенедикта фон Эйхендорфа (1788-1857), автора романов, пьес, новелл, стихотворений.

[22] Иеремия Готхельф (наст. имя Альберт Бициус; 1797-1854) – швейцарский писатель-классик, автор романов из крестьянской жизни.

[23] Ульрих Брекер (1735-1798) – швейцарский писатель, автор романа «Жизнь и приключения бедняка в Токкенбурге».

[24] «Витико» (1865-1867) – роман-эпопея классика австрийской литературы Адальberta Штифтера (1805-1868), действие которого разворачивается в XII веке.

[25] Матиас Клаудиус (1740-1815) – немецкий поэт и журналист.

[26] Вильгельм Раabe (1831-1910) – немецкий писатель, возродивший и продолживший забытую к тому времени традицию романов Жана Поля; автор романов «Хроника Воробыиной улицы» (1857), «Сдобоед» (1879), «Летопись Птичьей слободы» (1896) и др. В фокусе внимания Раabe – расщепленное человеческое сознание, которое в романе «Абу Тельфан, или Возвращение с Лунных гор» (1867) он назвал «неизвестной внутренней Африкой».

[27] Теодор Шторм (1817-1888) – немецкий писатель, автор лирических, сказочных, драматических новелл («Всадник на белом коне» (1888) и др.).

[28] Петер Альтенберг (псевдоним Рихарда Энглендера, 1859-1919) – австрийский писатель, представитель литературного импрессионизма, автор

сборников прозаических миниатюр «Как я это вижу» (1896), «Сказки жизни» (1907) и др.

[29] Вальтер Хазенклевер (1890-1940) – немецкий драматург и поэт, экспрессионист, автор драмы «Сын» (1914) и др. После оккупации Франции немцами в 1940 г. был интернирован и в лагере покончил жизнь самоубийством.

[30] Генрих Лейтхольд (1827-1879) – швейцарский поэт, с 1857 г. жил в Мюнхене; с 1877 г. был психически болен.

[31] Конрад Фердинанд Майер (1825-1898) – швейцарский классик, автор исторических новелл из эпохи Возрождения и Реформации и стихотворений.

[32] Макс Рейнхардт (1873-1943) – известный немецкий театральный актер и режиссер, австриец по происхождению, руководитель Немецкого театра в Берлине (в 1905-1920 и 1924-1933 гг.). В 1933 г. эмигрировал в США, основал актерскую школу в Лос-Анджелесе.

[33] «Зеленый Генрих» (первая редакция 1854-1855; вторая редакция 1879-1880) – автобиографический роман Готфрида Келлера.

[34] Генрих Даниэль Цшокке (1771-1848) – швейцарский писатель.

[35] Поль Моран (1888-1976) – французский писатель и дипломат, автор романов, путевых заметок, пьес, стихов.

[36] Буквально: «А, может, даже еще более турецкие» (*vielleicht noch türkischer*).

[37] Слова из прощального письма Николая Ставрогина в заключительной главе романа «Бесы».

[38] Карл Фридрих Георг Шпиттлер (1845-1924) – швейцарский поэт, эссеист, романист классического направления; лауреат Нобелевской премии по литературе (1919). Наибольшую известность ему принесла эпическая поэма «Олимпийская весна» (1900-1905).

[39] «Юрг Енач» (1876) – исторический роман Конрада Фердинанда Майера из эпохи Тридцатилетней войны.

[40] Вперед (*франц.*).

[41] Никогда! (*франц.*)

[42] Шарль Фердинанд Рамю (1878-1947) – швейцарский франкоязычный писатель, автор романов «Адам и Ева» (1932), «Дерборанс» (1934) и др.

[43] Плевать мне на него (*франц.*).

[44] Джованни Сегантини (1858-1899) – итальянский художник, один из лидеров символизма; умер в Швейцарии.

[45] Эрнст Цан (1867-1952) – швейцарский писатель, автор многочисленных романов, драм, стихотворений, проникнутых патриотическим чувством.

[46] Цезарь фон Аркс (1895–1949) – швейцарский драматург.

[47] Викки Баум (1888–1960) – австрийская писательница, принявшая в 1938 г. американское гражданство, автор популярных в свое время развлекательных романов.

[48] Халлдор Кильян Лакснес (наст. имя Хатльдоур Гудиоунссон; 1902-1998) – исландский писатель, лауреат Международной Сталинской премии (1949) и Нобелевской премии по литературе (1955), председатель общества «Исландия – СССР» (с 1950 г.). Автор романов «Свет мира» (1937-1940), «Исландский колокол» (1943-1946), «Атомная станция» (1948, рус. перев. 1954) и др., книг о поездках в СССР «Путь на Восток» (1933) и «Русская сказка» (1938).